

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Владимир ЧИВИЛИХИН

Предвоенное детство моё и военное отрочество прошли в небольшом сибирском городке Тайга, окружённом со всех сторон кедровыми, пихтовыми и еловыми лесами. У каждого из нас в детстве были милые сердцу речки и леса, горы и тропки, дворы и улицы, которые спустя много лет греют нас золотыми снами. К родному моему городку тайга подступала почти вплотную, кустарником и мелколесьем начиналась сразу же за последними огородами, и сердчишко моё с детства поселилось в ней. Мы, мальчишки-полусироты, пропадали в тайге, она подкармливала нас, незаметно, кажется, воспитывала,— и меня, где б я ни был, почему-то тянет туда, тянет с каждым годом всё сильнее — к родным деревьям, буграм, родникам, и я посещаю их время от времени... Однако самые первые, младенческие впечатления связаны всё же не с тайгой.

— Одна странная особенность есть у моей памяти — лучше, чем что-либо другое, помню звуки, запахи, краски, а через них всё остальное — давние голоса, лица, случаи. Стоит мне сейчас закрыть глаза и мысленно вернуться к зоревой поре жизни, как явственно услышу сипенье жёлтой керосиновой лампы на стене нашей хибарки, скрип крыльца, увижу изменившееся вдруг лицо мамы, её порыв к двери:

— Никак, отец!

По каким-то одной ей ведомым признакам мама угадывала, что на крыльцо ступил отец, возвратившись из долгой поездки. На руках с кем-нибудь из нас, малышей, мать торопливо подбегала к дверям, широко распахивала их, и в облаке морозного пара появлялся отец — непомерно большой из-за своих тяжёлых одежд, с кожаной сумкой через пле-

чо и гремучими железными фонарями в руках. Втягиваю сейчас носом воздух и насыщаюсь смешанным запахом каляного холодного брезента, потной овчины, керосинового фитиля, старой кожи, но все эти оттенки побивает своей терпкостью горький дух паровозной копоти. Отец обнимал маленькую нашу маму и говорил:

— Ну, будет, будет! Дитя застудишь.

Рабочая отцовская амуниция была для меня предметом вожделенным. Прежде всего, конечно, кожаная сумка, которую я тщательно обшаривал после каждого возвращения отца из поездки. В ней всегда лежала замусоленная книжонка с рисунками паровозов, вагонов, семафоров... Обмылок в железной мыльнице, складной нож, стеариновые свечи и запретный тугой карманчик, в котором хранились белые плоские баночки — петарды. Обычно отец их сразу же убирал на полку, под самый потолок, куда я не мог добраться, а мне так хотелось подержать их в руках, чтоб ощутить под гладкой холодной жестью ужас затаившегося взрыва. Обязательно присутствовала в сумке стопка жёстких картонных билетов, пробитых компостером. И использованные пассажирские билеты отец брал, наверно, у товарищей, чтобы я мог строить из них домики, вертеть на вязальной спице или обменять на какую-нибудь другую драгоценность у соседского мальчишки. А в самом потаённом отделении сумки находил я чёрствую краюху хлеба, дольку пахучей колбасы и обломок кускового сахара, нарочно забытые отцом. Хлеб и колбасу я тут же, как бы ни был сыт, съедал с наслаждением, даже с какой-то звериной жадностью. Отец обычно в это время сидел

у печки, грел над плитой руки, смеясь, смотрел на меня, а мать, хлопочущая с обедом, приостанавливалась на бегу, всплескивала руками и приговаривала:

— Ну диви бы голодный! Нет, отец, на него ядун напал, пра слово, ядун!

Сахар я откладывал, чтоб иметь в запасе ещё одно удовольствие, и продолжал досмотр. В карманах тулупа и телогрейки, как правило, не было ничего интересного. Но у порога ещё стояли большие подшитые валенки, которые мне нужно было непременно примерить, фонари с красными и жёлтыми стёклами, висели на гвоздике в кожаном чехле сигнальные флажки, я всё это тщательно обследовал и, наверное, даже обнюхивал, потому что до сего дня в моей обонятельной памяти живут восхитительные запахи оплывших свечей, керосинной гари, станционных дымов и пыли дальних дорог...

Ездил наш отец на товарных поездах. Не «работал», не «служил», а именно,

как я привык слышать с детства, «ездил» главным кондуктором; эта профессия на железных дорогах давно устарела, в старое же время главный кондуктор считался на транспорте фигурой заметной, наравне с машинистом паровоза, и я вспоминаю, как у колодца две соседюшки спорили о том, чей муж главней.

Железная дорога незаметно входила в мою жизнь, и, с рожденья слыша паровозные гудки, я перестал их замечать. Но мама, если отец был в поездке, временами поднимала голову от стирки или шитья, прислушивалась к гудкам, скрежету прокалённых морозом рельсов или тишине, произносила про себя:

— Как там отец?

В солнечные и тихие морозные дни рельсовые скрипы становились такими близкими, что казалось, это двери стайки кто-то открывает либо калитку на соседнем дворе, а над станцией высоко-высоко в небо поднимались чёрные, серые, белые или розовые столбы дыма,

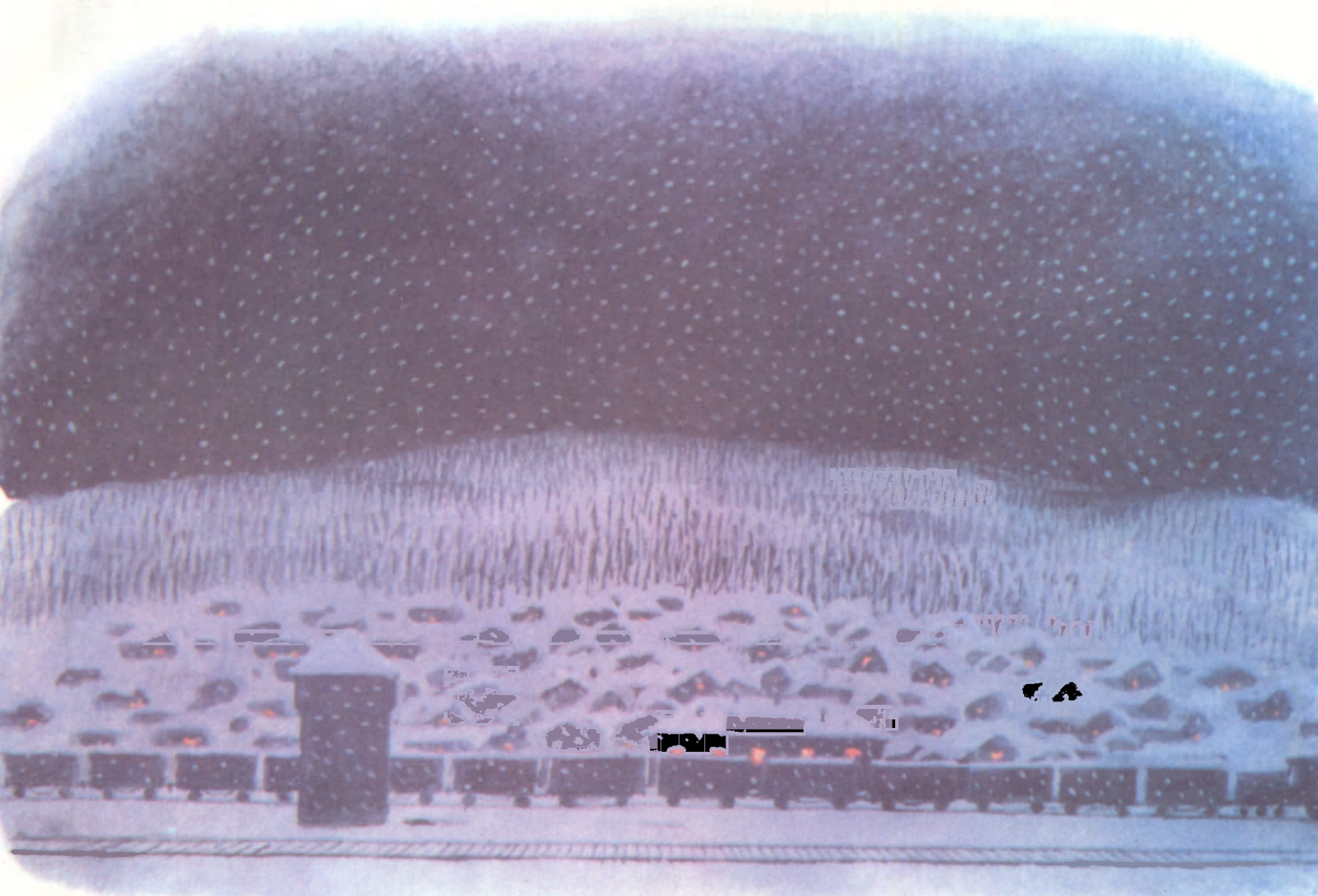




пухли, округляясь вершинами, и чудилось, что паровозы спустились сюда на гигантских разноцветных парашютах. Среди наших первых детских игр главной была игра в поезда, и мы, голопузая ребятня, не научившись ещё как следует выговаривать слова, уже спорили, кому быть машинистом, кому кондуктором.

Читать я выучился очень рано. Как ни странно, раннее приобщение к чтению

нии. Мама не могла оставить нас без присмотра, и вот соседки, намаявшись за день с чугунами, скотиной, стиркой и детьми, молчаливо и устало рассаживались где ни попадя, тихо переговаривались, чтоб, наверно, не разбудить моего младшего братишку, которого качала в зыбке семилетняя сестра. Мать становилась на стул и зажигала ещё одну, подвешенную к потолку лампу, от ко-



произошло именно из-за того, что мама наша была неграмотной.

Вышло всё так. Долгими зимними вечерами собирались с нашей окраинной улицы жёны кондукторов, машинистов, кочегаров, смазчиков, слесарей, стрелочников. Собирались у нас, потому что отца и между поездками часто не было дома — коммунистом он стал, как многие рабочие тех лет, в 1924 году, вечно хлопотал в кондукторском резерве не то по профсоюзной, не то по партийной ли-

торой сразу же начинало сильно тянуть керосином к полатам, где лежал я, выставив наружу глаза.

Появлялась учительница из ближайшей школы. Я ждал её, как божество, потому что это было на самом деле божество.

— Добрый вечер, товарищи! — произносила в дверях.

До сего дня у меня в глазах её белоснежный воротничок и такие же манжеты на рукавах платья, нежный тихий го-

лос звучит в ушах, и совсем другие слова, чем те, что я всегда слышал, а от её светлых волос, которыми она почему-то всё время потряхивала, поднимался ко мне сказочный аромат. И ещё она была тоненькая, как моя сестрёнка. Прежде чем начать занятие, грела руки у раскрытой печки, они были насквозь прозрачные и совсем красные.

И вот божество разворачивает рулоны бумаги, вешает листы с большими буквами на стенку, близ лампы, чтобы повидней было, и начинает. Женщины какими-то чужими, деревянными, ненатуральными голосами повторяют: «Мама моет Лушу» или: «Мы едем в Москву». Хором ладно получалось, а по отдельности ученицы стеснялись, запинаясь, подолгу думали над каждой буквой, и я нетерпеливым шёпотом начинал им сверху подсказывать. Мама грозила мне скрюченным пальцем, а учительница смотрела на меня и улыбалась. Глаза у неё были голубые, не то что у всей моей родни.

И ещё помню, как однажды отец, сидя у лампы, читал свой «Гудок», и, когда я внятно прочёл ему это слово, он удивлённо-радостно посмотрел на меня, заставил разбирать другие слова, потом долго подбрасывал меня к потолку и осенью отвёл в школу, хотя мне ещё не исполнилось восьми лет. Едва научившись читать, я пожирал глазами всё буквенное: газеты, отрывные календа-

ри, отцовские тарифные справочники, бабкину библию, школьные учебники сразу от корки до корки и за любой класс, пыльные старинные журналы, каким-то чудом сохранившиеся в ящичке на чердаке нашего дома, и книжечки, книжки, книги, книжищи — чем толще, тем лучше. Несколько позже определился первый избирательный интерес, начавшийся, как и у многих моих ровесников, с «Робинзона Крузо», — и я искал любую книгу о путешествиях и мгновенно проглатывал её, если даже она была с научным уклоном.

С детства тянуло далёкое и неведомое, всегда хотелось куда-нибудь и на чём-нибудь уехать. Однажды на соседней трактовой улице появился первый в нашем городке автомобиль. На брезенте большого фургона было написано: «Москва — Владивосток». Машина, правда, застряла в глубокой глинистой колдобине, мужики её со смехом вытаскивали конями, а когда она взяла на взгорок, ребятня с восторгом бросилась за ней, и я вцепился в железину, которую запирался борт. Меня мотало во все стороны, больно било углом кузова, залепило грязью до глаз, но я держался занемевшими руками, пока они сами не разжались...

Хотелось уехать на проходящих дальних поездах, улететь на самолётишке, что перед войной начал трещать на нашем крохотном осовавиахимовском аэродроме.

